

## Лакомская Светлана

### За крестом газетных полос

#### *Рассказ*

Вера безучастно смотрела в расчищенную дырочку на стекле застывшего окна. Там, за крестом газетных полос, она видела человека, медленно, очень медленно бредущего по заснеженной улице. Брёл, тяжело переставляя негнущиеся ноги и опираясь на серые стены домов. Часто останавливался, словно прирастая спиной к своей опоре, глядел вверх немигающими, провалившимися глазами, и снова брёл. Шаг за шагом. Но Вера знала, что в любую минуту этот человек может так и остаться стоять у стены навечно. Он даже не успеет понять, что умер.

Да и сама Вера уже плохо понимала, то ли она стоит там, за мёрзлым стеклом, то ли человек идёт здесь, рядом с ней, потому, что в пустой квартире было холодно так же, как и на улице. И к этому пробирающему до самого сердца холоду нельзя было привыкнуть, как нельзя привыкнуть к бесконечно терзающему её тело и душу, постоянному голоду. Но живот уже не болел, содрогаясь в голодных конвульсиях, потому, что организм давно понял – просить еды бесполезно, её нет. И что было ещё хуже, Вера давно не задумывалась и, наверное, уже даже не верила, что на свете бывает тепло и совсем не хочется есть.

Почувствовав на груди слабое шевеление, девочка сжалась и инстинктивно прижала к себе серого худого кота Ваську, спрятанного под отцовским пальто, надетыми поверх её цигейковой шубки. Васька сильно ослабел и не мог выпустить когти, чтобы удержаться самому на груди девочки. Поэтому Вере приходилось постоянно поправлять сползающего вниз кота задеревеневшими, похожими на замороженные сучья, руками. Но всё же Вера старалась согреть лёгкого, как древесная щепка, плохо пахнущего любимца. Но кто тогда хорошо пах? Об этом в голодном замерзающем городе не думал никто.

И не смотря на то, что на ней было надето два пальто и несколько кофточек, согреться всё равно, было невозможно. Холод, сильнейший, ужасающий, пробирающий до самого кончика давным-давно нечёсаной грязной косы, был с Верой с самого начала этой зимы. Страшной зимы 1941го. Истерзанное, иссушенное голодом тело девочки почти совсем не давало собственного тепла, и никакие попытки перехитрить холод, не помогали. Спасало лишь одно – недолгое, слабенькое тепло оранжево сияющего огня, стынущего в тесном теле железной буржуйки. Такого маленького, что едва можно было протянуть к нему закопченные скрюченные руки. Но чтобы даже такой огонь был, нужно приложить неимоверно тяжкие усилия, поэтому каждый день зимы у Веры с

мамой всегда начинался одинаково: – Вера выносила грязное ведро, мама рубила щепки в соседней комнате. Но с каждым днём им обоим делать эту простую работу было всё труднее и труднее и, вернувшись с улицы, девочка села на стоящий возле буржуйки небольшой табурет. Стульев в доме давно не было, их сожгли в числе первых. Сразу после того, как была сожжена самая «ненужная» мебель: – этажерки, комод, новая красивая оттоманка, покрытая тонким войлочным ковриком. Эта оттоманка была настоящей гордостью матери и поэтому валики и пышные подушки на ней всегда были застелены кружевными накидками, связанными её умелыми руками. Но это было тогда, давно-давно, ещё до войны...

Вера перевела взгляд на застывшего в клетке попугайчика Яшку и осторожно провела пальцем по плетёной железной стенке. Не пошевелился, даже не посмотрел. Клетка стояла возле самой буржуйки, но это совсем не спасало птицу – буржуйку топили слишком мало и Яшка сильно мёрз, даже гораздо сильнее, чем наполовину облезший Васька.

Попугайчик, появившийся у них примерно за три года до начала войны, наравне с их красивым пушистым котом, тоже стал всеобщим любимцем. Он не только хорошо копировал походку каждого из членов семьи, но и отлично разговаривал, точно передавая интонации и слова. И лишь одно огорчало всех – Яшка совсем не понравился коту. Васька, чувствующий себя полноправным членом семьи, не захотел делиться любовью хозяев, и в их отсутствие каждый раз пытался открыть плетённую клетку, чтобы достать оттуда ненавистную птицу. Сначала думали, что пройдёт время и Василий привыкнет к весёлому безобидному попугайчику, но этого так и не случилось. Нрав кота оставался по-прежнему кровожадным. А потом началась война...

Сначала закончился запас птичьего корма и попугайчика кормили всем, что пока ещё могли найти в доме. Приносили с улицы траву, семена, корни, плоды кустов – что ещё росло, и не было съеденным. А с наступлением холодов еды не стало совсем, и Яшке было особенно плохо. Если оголодавший кот научился есть любую пригодную для еды похлёбку, то попугайчик не мог. И сейчас он не щебетал, не скакал весело по клетке, не поглядывал на Веру, позвякивая крошечным колокольчиком. Он молчал, изредка переступая с лапки на лапку, и лишь иногда пытался встряхнуться и распушить сильно поредевшие тёмно-зелёные перья, сквозь которые просвечивала синюшная пупырчатая кожа. Но согреться у голодного Яшки не получалось и судорожно вздрагивая всем тельцем, он лишь беззвучно открывал и закрывал клюв. Вера молча смотрела на погибающую птицу и тихо плакала. Слезы жалости и бессилия катились по впалым почерневшим щекам девочки, но это было всё, чем она могла помочь этому крошечному, когда-то беззаботно-весёлому существу. И Вера с матерью очень хотели, чтобы их милый Яшка жил, отделяя для него от своей и без того

мизерной пайки драгоценные капли жизни. Такой была цена каждой крохи еды. Но Вера с матерью не могла иначе, ведь этот попугайчик был единственной нитью, незримо связывающей их с той, довоенной жизнью – тёплой, светлой, счастливой; брезжущей словно призрак, где-то там, далеко-далеко. За бесконечным холодом, лютым неотступным голодом, изнуряющей слабостью и медленным отупением. Да, да именно отупением, потому, что жизнь в городе шла скорее, по инерции. Работа, еда, вода, дрова и тринадцатилетняя Вера не поняла, почему вместо внезапно прервавшегося неотбеганного детства, отчего-то сразу наступила старость.

Девочка чувствовала себя именно так, прожившей лет шестьдесят, не меньше, потому, что думала лишь об одном – выжить. Выжить, и не сойти с ума от одной-единственной мысли о еде, не умереть по дороге из булочной, зажав в руке драгоценный кусок. Не остаться стоять навечно возле серой стены и обязательно вернуться домой, преодолев полквартала зимнего, промёрзшего насквозь города. Но очень редко, в голодном животном забытии полуживого человека, всё-таки просыпались и давно забытые человеческие чувства. Вспыхивало непреодолимое желание содрать навечно приросшую пергаментную, высушенную дистрофией кожу и вымыть грязное тело. Но это лишь иногда, а всё остальное время хочется есть. Есть, чтобы выжить. Выжить обязательно. И рассказать. Всем. О том, что она пережила. А пережила ли?

В комнату вошла мама. С трудом переставляя распухшие ноги и глядя на дочь потухшим взглядом, безучастно сказала:

– Прости, доченька, задержалась. Пальцев почти совсем не чувствую, замерзли, да и ноги не держат. Но ты подожди чуток, родная, сейчас растоплю, и согреешься, – тихо приговаривала мама, пытаясь разжечь огонь застывшими на морозе руками.

Она делала это каждый день с самого начала зимы, и этот ежедневный ритуал всегда сопровождался одними и теми же словами. И даже не знала, кого она сейчас поддерживает больше – измученную дочь, или саму себя. Заполнив на одну треть мебельными щепками топку, мама разжигала огонь и в такие минуты Вера немного оживала, а на её полупрозрачном личике появлялось слабое подобие улыбки. Сидя перед прожорливой пастью буржуйки, девочка подбрасывала в неё самые маленькие щепочки, продлевая невыносимо сладкие мгновения тепла и света. Жмурясь слезящимися мутными глазами, на коленях лежал Васька, вытащенный из-под отцовской пальтушки и тоже радовался этому недолгому живительному теплу.

Потом Вера осторожно клала кота на кровать и укрывала любимца двумя заиндевевшими, насквозь холодными одеялами. И Васька даже не мяукал, экономя быстро угасающие силы, и покорно оставался ждать их прихода. Ведь сейчас у Веры с матерью было самое главное – отоварить хлебные карточки, а

для этого нужно было снова выйти на улицу. Зажав в руке драгоценные карточки, они с матерью долго-долго брели в булочную, чтобы получить положенные им двести семьдесят пять грамм чёрного, напололам с отрубями и жмыхом, драгоценного хлеба. А будучи дома, садились за пустой стол и ни слова не говоря, делили хлеб на три части: – маме, Вере и Ваське. Они честно делили с котом всё, что могли достать в эту первую, самую тяжёлую для осаждённого города, зиму. Ведь даже выпустить его в поисках самостоятельного пропитания они давно уже не могли. После случая, произошедшего в самом начале зимы, когда Вера ещё могла выходить на улицу просто так, Васька был на строжайшем домашнем аресте. Вера хорошо помнит ТОТ самый день, когда взяв худющего кота на руки, она спустилась во двор.

Поставив его на землю, Вера хотела направиться к сугробу, бывшему ещё осенью клумбой. Однако голодный Васька не захотел уходить и продолжал сидеть у Вериных ног, вылизывая начавшую вылезать шерсть. Мимо них проходила какая-то женщина, но увидев сидящего на снегу кота, тут же замедлила шаг. Взглянув на женщину, девочка поймала на своём любимце её жуткий, кровожадный, остекленевший взгляд и всё поняла. Мгновенно подхватив своё сокровище, Вера бросилась домой с душераздирающим криком.

– Мама, мама! Там, там, тётенька... Она, она, – захлёбывалась словами девочка.

Плачущая Вера так и смогла произнести тех страшных, уродующих сознание и человеческое достоинство, слов. Да это было и не нужно, мама и так всё поняла. И с этого дня Васька сидел взаперти. После случившегося его никуда не выпускали, а если уходили, то обязательно закрывали на оба замка – комнату, и квартиру. Но наученные горьким довоенным опытом, при этом всегда проверяли – достаточно ли хорошо заперта клетка.

Но однажды Вера с матерью очень долго задержались в булочной, утром не привезли выпеченный хлеб. Им пришлось ждать его целых одиннадцать часов на январском тридцатиградусном морозе. А когда отоварив карточки, они, наконец, добрались до дома, то не поверили своим глазам – неведомо как попавший в железную клетку Васька, лежал внутри. Свернувшись худым колечком с выступающими наружу рёбрами, он согревал маленькое тельце истощённого попугайчика. Из выжженных глаз матери выступили давно забытые слёзы. Этот несчастный кот хотел жизни не только для себя, а ещё пытался помочь тому, к кому бесконечно ревновал любимых хозяев. И глядя на них, полуживых, но не потерявших сострадания, людям хотелось тоже сохранить убиваемые голодом чувства – жалость, любовь, человечность.

Мама поцеловала Веру и взяла единственную ценную вещь, оставшуюся у них дома – ружье мужа, которым очень дорожила и, взглянув на сжавшуюся вдруг дочь, вышла за дверь. Вера знала, что мама держала его на самый крайний,

самый чёрный день, и покорно решив, что этот день наступил, осталась ждать. Но вернувшись домой, мама протянула Вере маленький кулёчек подсолнечных семечек, выменянных с большим трудом у толстой торговки. Девочка судорожно сглотнула мгновенно появившуюся тягучую слюну и инстинктивно сжала сухой кулачок с кульком. Хруст замёрзшей бумаги тут же привёл девочку в чувство, и медленно переставляя отёкшие ноги, Вера подошла к попугайчику.

– Яша, Яшенька! Посмотри скорее, что у нас для тебя есть, – произнесла девочка, и осторожно вынул из кулька три серых полосатых семечка, положила в клетку.

Словно не поверив хозяйке, Яшка долго смотрел на еду, но всё же осторожно, словно парализованный, приковылял к неожиданному подарку и благодарно смотрел на Веру всё понимающими глазами. Но он уже не мог есть. Его, пока ещё живого, уже убил голод. Убил, как и миллионы других жизней, безжалостно сжав костлявой рукой Ленинградской блокады. Попугайчика не стало на следующий день.

Но Вера с матерью почти не почувствовали горя, увидев в его смерти лишь избавление от дальнейших мук. Да и они сами привыкли к постоянным смертям. Привыкли, как бы страшно это не звучало. Они видели её везде – неожиданную, страшную, но уже привычную. Люди умирали сидя, стоя, лежа; за желанной едой, за станком, в тяжком забытии сна, когда в чёрно-белых видениях полубольного полуспящего мозга мерещится только одна картинка – еда. И не довоенная, давным-давно позабытая, а та, что была сейчас. Доступная, если тебе сказочно повезёт, самая вкусная и желанная – картофельные очистки, горсть соевой муки или полусгнившего жмыха. Тогда можно соорудить похлёбку и продержаться ещё пару-тройку дней. Так думали всё, кто остался в осаждённом городе. И было страшно, очень страшно...

И не только из-за отсутствия тепла, света, еды, воды. Страшно было оттого, что на тебя смотрят не любящие голубые глаза, а выцветшие, неживые, прикрытые мутным льдом чёрные провалившееся ямы. Страшно, когда воспринимаешь родного человека, не как родного, а как живущего рядом с тобой такого же зомби – трясущегося, распухшего, с зеленовато-синей ужасной кожей. Страшно, когда ты знаешь, что в любой момент он может упасть и уже никогда не подняться. Страшно, когда ты знаешь, что есть больше нечего, ни сегодня, ни завтра. Страшно, когда всё, что можно было пустить на дрова – уже разрублено и сожжено, а на тяжёлое и большое – уже просто не хватает сил. Страшно, что есть в городе и такие, кто сам за себя, лишь бы не умереть, лишь бы выжить, спастись, уцелеть. Страшно, что ты знаешь – помочь некому. Страшно...

Но город всё равно жил, работал, оборонялся. Ждал, надеялся, верил, любил и ненавидел. Любил страну, жизнь, людей и люто ненавидел врага. А впереди ещё было целых семьсот дней ужасной блокады и много-много таких вот,

похожих друг на друга, невыносимо тяжёлых дней героического противостояния. Противостояния голоду, холоду и самому себе. И ни Вера, ни её мать не знали, что им суждено пройти через все муки блокадного ада и выжить. Выжить наперекор всему. И не за чужой счёт, а потому, что им помогала вера в победу, в жизнь, в то, что по-другому просто не может быть.

И не знали, что и их любимец Васька тоже переживёт это страшное время. Переживёт, благодаря им, делящими с ним последние крохи жалкой еды и проживёт ещё долго-долго, до почётных двадцати кошачьих лет. И станет живой легендой непобеждённого города...